

18. РОДИНА-ГИРЯ

Два раза в жизни (в детстве) я видел, как летают домашние гуси. Зрелище так поразило, что я навсегда запомнил погоду, место, время года и дня. Это было ранней осенью, теплым солнечным днем, под вечер. Набегавшись, я сидел в хате и читал. На улице послышались странные крики, хлопки, шум. Я вышел.

Наша хата стояла (и теперь стоит) на высоком месте. Сыпучих горок в Горске две -- в нашем конце улицы и в противоположном. Чтобы не вить хозяйство на бесплодном песке, хаты отодвинули от горок, нарушили красную линию застройки. На деревенской улице образовались два расширенных отрезка, напоминающих площади. На краю одной из них -- наша усадьба.

Обе площади были залиты серым, без единой травинки, песком. В жаркий день песок нагревался так, что на ту сторону улицы спокойным шагом не перейдешь. Обжигает босые ноги, как на сковородке. Надо бежать. А когда не очень пекло, дети игрались обязательно на уличном песке. Утверждаю, в Горске находилась самая большая в мире песочница.

Свою площадь я увидел белой от гусей. В стаю собрались все гуси нашего конца. Обычно каждая гусятинная семья, под водительством гусака, пасется суверенной кучкой, и не на площади, где нечего пощипать, а на лугу. Гуси громко гадали, размахивали крыльями, прохаживались кругами. И старые, и молодые вели себя одинаково.

Неожиданно гуси хором произнесли один звук, с кратким разбегом оторвались от теплого песка и ... полетели в метре над улицей. Медленно, натужно летели и кричали. Шеи выпростили вперед, красные ноги вытянули назад и поджали под брюшко, крылья распростерли широко, отчего сделались необычно большими.

От множества машущих крыльев в воздухе шумело, свистело. Под летящей стаей с песка поднялась пыль. От отчаянных криков гусей в моей душе поднялась тревога. И одновременно -- восторг: летят наши гуси! Оказывается, они умеют летать!

Полет гусей продолжался около минуты, не более. Они перелетели вдоль улицы всю площадь, метров двести, от усадьбы тетки Локоты (фамилия) до усадьбы гармониста Левко (прозвище, производное от Леонтия), там упали в песок.

Приземлившись, стая разошлась не сразу. Гуси, успокоившись, что-то обсуждали. В конце концов птицы разбились на семьи и разошлись по дворам, ведомые гусаками. А я, помню, с огорчением подумал: если бы не береза Левко на их пути, гуси могли бы пролететь дальше. Мне хотелось, чтобы они летели.

Усадьба Левко замыкала площадь, дальше улица делалась узкой, расширяясь в площадь на другом конце деревни, где жил мой друг Васька. На Васькиной площади я видел летящих гусей второй раз. Это было тоже ранней осенью, в теплый день. Заметьте, домашние гуси оба раза летали над горскими площадями. Наверно, выбирали самое высокое место, чтобы выше

подняться. Или для неперемного падения искали мягкий песок. Этого я не могу знать, потому что я не гусь.

Сегодня по центру обеих площадей, как и по всей улице Горска, лежит асфальт. Он удобен для человека, а гусям не может служить взлетной площадкой. Они, верю, летают в других местах.

Когда приеду в родную деревню и спешу пройтись по улице, у хаты Левко, вросшей в землю, обязательно представлю себе, как здесь падали в песок гуси. И вижу одну и ту же картину: опершись о забор, у хаты стоит пожилой человек. «Здравствуй, Толик!» — говорю я, останавливаясь, чтобы перекинуться словом-другим.

Вишни вдоль забора образовали густые заросли, недавно я шел и не увидел Толика. Однако каким-то чутьем определил: он тут, он стоит на своем посту. Неужели моя душа услышала его душу? Я вернулся — да, он тут. Я извинился, что не заметил.

Теперь знаю: душа душу может услышать, как птица слышит зов другой птицы, чтобы вместе полететь. Не в том суть, что домашние гуси пролетели так мало. Символично то, что они не забыли, как летать. В детстве люди тоже летают. Во сне.

Когда я проходил мимо хаты Левко, в моей душе не мог не зазвучать «Вальсок» как сладкое воспоминание о детстве. Он же, этот незабываемый «Вальсок», звучал и в душе тески.

В детстве у нас была приятная забава. Поздним вечером, когда темнота укутывала деревья и хаты, мы любили подкрасться к горящему окошку Левко, долго, не толкаясь и не смеясь, смотреть и слушать музыку. Да, музыку можно не только слушать, но и смотреть.

В окошке отсутствовала занавеска, и мы видели, как Левко брал со стола маленькие пластинки, подносил их к губам, дул. Слышался музыкальный звук. Левко брал другую пластинку, дул в нее — и вновь слышался музыкальный звук, но чуть-чуть иной. После звучали третья пластинка, четвертая, пятая...

Левко дул в пластинки много раз, дул и прислушивался. Постукивал по ним молоточком, подпиливал напильником. И опять дул, и опять слушал. Мы начинали различать в звучании пластинок смысл, тональность, закономерность. Мы видели, что «до» отличается от «ля», а «си» — от «фа», хотя мы не знали, что это ноты и что Левко извлекает их из металлических пластинок. «Голоса делает», -- шептались мы.

Левко мастерил гармони, баяны, аккордеоны, а также ремонтировал фабричные. К нему ехали заказчики со всей Беларуси. Комнатка, где он «делал голоса», была завалена металлическими плашками, деревянными брусками, кусками яркой ткани, инструментами.

На полках стояли цветастые, блестящие гармошки и аккордеоны. Мы в темноте замирали, когда Левко брал в руки готовую гармонь, прислонял к ней голову, тихо играл, вслушиваясь в голоса, только что сотворенные им...

Он обладал исключительным музыкальным слухом и тонкой душой, страдающей от прозаичной деревенской действительности. Его хата была хилой и невзрачной, будто в ней горевала безмужняя баба. В хате висели черные ошметки обоев, у окна стоял голый стол, у стены -- неприбранные кровати.

Люди уважали Левко за мастерство, прощали ему такой нетерпимый в деревне грех, как беспечность и бесхозяйственность. За ним тянулась слава гуляки, успокоителя послевоенных вдов. Односельчане полюбили его сына, Толика, когда тот подрос и выучился играть на всех инструментах, какие имелись в хате.

Играл Толик виртуозно. Играл и подпевал. На танцах, свадьбах и просто на улице, усевшись на скамеечку у черно-смольной стены хаты. Когда я прохожу сейчас мимо этой хаты, мне кажется, она пропитана музыкой изнутри и снаружи. Хата Левко звучит, как большой музыкальный инструмент.

Толик был на десяток лет старше меня, нас сблизило то обстоятельство, что мой отец купил баян и нанял Толика моим музыкальным учителем. За обучение отец заплатил двумя мешками пшеницы, заработанной на стройках в Алтайском крае, куда несколько лет подряд выезжал во главе бригады мастеровых, авантюрных, смелых мужчин-отходников. Вообразите, сколько трудов и нервов им приходилось потратить, чтобы за тысячи километров доставить в домашние сусеки вагон пшеницы на пятерых! А какой репрессивный гнев вызывал их самовольный отъезд у колхозного начальства!.. Рисковать мужиков заставляла нищета деревенской жизни конца пятидесятых и начала шестидесятых.

Видно, Толик стеснялся своей неприбранной хаты, учил меня в нашей. Нотной грамотой я овладел позже, по самоучителю. А поначалу Толик наигрывал мне мелодию, чтобы я запомнил и повторил. Если у меня не получалось, Толик тонкими пальцами терпеливо тыкал-показывал, на какие кнопки нажимать.

Темой первого урока был «Вальсок». Так назвал мелодию Толик, когда я спросил. «Вальсок» изобиловал аккордами, был мелодичен, ритмичен. Потом я часто играл его на танцах по просьбе девчат, которым нравилось кружиться. Мой учитель его еще и напевал. Такой мелодии я нигде не слышал, предполагаю, что «Вальсок» -- его музыкально-поэтическое сочинение.

От отца Толик перенял не только музыкальный слух, но и неприкаянность. В колхозе он не нашел себе места, устроился кассиром на маленькой горской автостанции. Был видным парнем, девушки на него смотрели. Как не любить гармониста, который поет!

Однако Толик не женился. Отыграл на свадьбах у своих ровесниц, а сам сделался старым кавалером без кола, без двора. Где родился, не сгодился. Неприкаянная жизнь вытолкнула его из родных мест в Ростов. Почему в

Ростов? Это направление, наряду с Калининградом, Ленинградом и Ригой, было традиционным для крестьян-отходников из Брестской области.

Мы встретились в Горске через несколько лет. Толику было далеко за тридцать. Он без желания рассказывал о жизни в Ростове. Устроился, работа нормальная. Женился. Дали квартиру. Жить можно. Если бы не снилась эта береза.

Береза, помешавшая гусям лететь, по-прежнему стояла над его хатой. Когда-то береза, хата, сарай и сад не были добротнo огорожены. Левко мастерила гармони, а не заборы. Когда отец умер, Толик приехал в отпуск и поставил забор. «Выйду на пенсию, на второй день прилечу домой», -- сказал он мне. «Тебе до пенсии еще, как до неба!» -- «Дотяну!» -- сказал он твердо, односложно, стесняясь высокопарных слов.

Мимо нас ковыляла куда-то старик, бывший бригадир горской колхозной бригады. «С приездом на родину!» -- традиционно поздоровался он. «Я тебе покажу твою родину, гад! -- неадекватно ситуации отреагировал Толик, схватил старого за шиворот, потащил прочь. -- Не попадайся мне больше на глаза! И мимо моей хаты нога твоя чтоб не ступала!»

Бурная агрессия Толика против бригадира мне была понятна. Она вполне адекватна, если вспомнить прошлое старика. Бригадирствуя в колхозе в конце пятидесятых, тот немало поиздевался над людьми. Тем, кто не угодил, не давал соток, сенокоса. На тех, кто умел и хотел делать еще что-то, кроме бесплатной колхозной работы, напускал агента райфо. Моя больная мама в колхоз почти не ходила, зарабатывала шитьем. Прежде чем сесть за швейную машинку «Зингер», она закрывала хату, завешивала окна, отправляла меня на улицу караулить, не идет ли бригадир с агентом. Семью Левко бригадир давил с особой жестокостью, мстил за гармони, за талант, за непочтение к колхозу.

После отставки бригадир-супостат сник, притих. Деревня, конечно, не забыла, что он вытворял. Но и не мстила, проявила великодушие, прирожденно свойственное ей. Что было, то прошло и быльем поросло. Бригадира, как собаку, заставляли бегать и гавкать на всех. Собака и есть собака, даже если она человек. Бывшего бригадира перестали сторониться, общались с ним равнодушно -- без любви, но и без ненависти.

Уехав в Ростов, Толик находился вне общественной атмосферы Горска, не изменялся вместе с ней и под ее воздействием. В его памяти, тосковавшей о родине, законсервировались эмоции прошлого, бригадир оставался неизменным гадом. Ностальгия обостряла его ненависть.

Свежесть чувств, сохранившаяся в нем, выдавала творческую натуру. Длительное нахождение в заводском коллективе, где, по сравнению с деревней, у человека больше вариантов жизнеустройства, развило чувство собственного достоинства. Толик был для деревни, забывшей унижения, постоянным напоминанием, живым укором: держите себя высоко, не прощайте так быстро! В деревне каждая его стычка с бывшим бригадиром становилась событием, живо обсуждалась, одобрялась. Толик встряхивал деревню, заставлял ее по-новому посмотреть на самое себя, не черстветь, не грубеть, не опускаться.

Почти каждое лето мы виделись в Горске, приезжая в отпуска. Выйдешь на улицу — глядишь, сосед Толик опять ремонтирует забор, на всю деревню стучит молотком. За зиму штакетник расшатался под ветром, весной пару балясок из баловства сорвали дети, а кое-что подгнило и упало.

Толик стоически поддерживал забор, а однажды, будучи в отпуске, совершенно неожиданно основал дом. Когда Толик сел на первый венец верхом, начал стучать топором, готовить место для венца второго, третьего, тогда односельчане убедились, что он вернется.

И это явилось для земляков новой эмоциональной встряской. Деревня посмотрела на себя увлажненными от умиления глазами. Раз человек решил возвращаться, значит, не все тут у нас плохо, что-то есть и хорошее. Рядом лес, грибы, ягоды. Не везде есть такая красота. Деревня чистая, хаты покрашенные, заборы и сараи поправленные. Мужчины хозяйственные, хотя и выпивают. А женщины — не такие сварливые, как раньше, когда не все ходили в молитвенный дом к баптистам. Раз Толик возвращается — стало быть, горские люди хорошие, к ним человека что-то крепко тянет.

Так думала деревня, но никто о думе той не знал, кроме самой деревни и меня, ее отпрыска. И я обязан о том написать, потому что деревня продолжает молчать, а молчать о хорошем — не по-человечески.

Родительская хата для жилья не годилась, в двадцати шагах от нее, в глубине сада, Толик заложил новый дом. Он строил его много лет. Поднимал, сколько успевал за отпуск. Конечно, помогали родственники, сын.

Деревня с удовлетворением убедилась, что Толик превзошел талантливого отца, равнодушного к основательному устройству крестьянского быта. Деревня психологически ближе к собственнику, нежели к таланту.

К выходу на пенсию дом был подведен под крышу, благоустроен внутри. Для размещения скота был подготовлен сарай. Толик оставил ростовскую квартиру сыну, с женой приехал в Горск. Прилетел, как задумал давным-давно. Возможно, о возвращении он думал уже тогда, когда улетал.

Он отсутствовал почти тридцать лет. Практически всю зрелую жизнь провел не дома. В Ростове он находился временно. Это было вынужденное экономическое отходничество, а не полноценная жизнь. Тело было там, душа была тут. Они воссоединились Родиной.

Козлович Анатолий Леонтьевич — не гражданин мира, а гражданин Горска, откуда родом и я, отходник в публицистику, без усталости пишущий о малой Родине. Наши хаты стоят на площади, с которой на миг взлетают и на которую навечно приземляются домашние гуси. Общая фамилия говорит о том, что в изначальном витке Горска мы — родственники.

Козловичей в Горске — подавляющее большинство. Следовательно, мы формируем в наших местах определяющий тип социально-психологического поведения современного белоруса. Родина висит на каждом из нас тяжкой гирей, не позволяя уйти далеко, улететь высоко. Освободиться от этой гири нельзя, хоть радуйся ей, хоть плачь, хоть носи как вериги.

Летом 2003 года Толик опалевал дом, покрасил. Обновил забор. Омолодил вишневый сад. Подправил, как мог, старую хату, снести ее не поднимается рука, ибо хата в душе Толика отзывается музыкой. Он мне об этом не говорил, но я знаю по себе.

Тяжелую работу летом делал сын, отбирая у отца топор и лопату. У Толика случился инфаркт. Забарахлил моторчик, как говорит он тихим голосом, с тоской. И его тоска передается нам, земляки.

Токи родной земли передают и радость и грусть. Землю не только пахнут, но и слушают, не признаваясь в этом друг другу. Деревня, огрубевшая в борьбе за выживание, сознательно подавляет в себе тонкие душевные взаимоотношения. И неосознанно желает их. Толик своим прилетом побудил в деревенской душе спящую нежность. Однако никто в Горске не скажет об этом ни себе, ни ему. Горчаки бессловесны, как домашние гуси, не забывающие о небе.

Что прекрасно, то не должно быть тайной. Пусть человек стыдится собственной злобы, а не сентиментальности. Прекрасную тайну горчаков выражаю я, их рупор, а гуси -- раз в год летают.

Толик быстро постарел, посмотришь -- копия своего отца в старости. Сердце его стучит неритмично, не в унисон звонкой гармошке и возвышенной душе. Деревня с тревогой прислушивается к его новому дому -- и не слышит, чтобы Толик играл. Отцовская хата все глубже опускается в землю, унося с собой музыку. Управившись по хозяйству, Толик подолгу стоит рядом, тяжело опершись о забор.

«Бедный Толик! -- говорят между собой горские женщины, его ровесницы, которым он когда-то играл и пел на танцах, а после танцев провожал их и, бывало, обнимал и прижимал к себе. -- Хоть бы дал Бог пожить на Родине!..»

Более высоких слов о Родине от них я не слышал. Потому и сам не говорю, не пишу, чтобы острые на язычок земляки не засмеяли.

2004